

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



Александр Куприн  
**Памяти А. И. Богдановича**

«Public Domain»

1907

## **Куприн А. И.**

Памяти А. И. Богдановича / А. И. Куприн — «Public Domain»,  
1907

«Существует прекрасный, полный героической трогательности рассказ об одном адъютанте Наполеона. В разгаре сражения он подскакал к императору, пославшему его с каким-то поручением, сделал точный, спокойный доклад, но вдруг начал бледнеть и шататься в седле. «Etes vous blessé, monsieur?» – спросил Наполеон...»

## Александр Иванович Куприн Памяти А. И. Богдановича

Существует прекрасный, полный героической трогательности рассказ об одном адъютанте Наполеона. В разгаре сражения он подскочил к императору, пославшему его с каким-то поручением, сделал точный, спокойный доклад, но вдруг начал бледнеть и шататься в седле. «Etes vous blessé, monsieur?» – спросил Наполеон. «Pardon, Sir, je suis mort»<sup>1</sup> – ответил офицер и упал мертвым на шею коня.

Мне вспоминается этот рассказ, когда я думаю о последних днях и о смерти Ангела Ивановича Богдановича. До тех пор пока была возможность держаться на ногах, он мужественно отдавал журналу последние крохи жизненной энергии, преодолевая давнишнюю тяжкую болезнь, страдания от которой стали под конец невозможно жестокими. Оставив редакцию, он в тот же день слег в постель и через несколько недель умер.

Однажды вечером, вот уже год тому назад, я застал его в редакции. Он был один и сидел за корректурой, нагнувшись, совсем приблизив к листу свои слабые глаза в темных очках. Низко опущенный абажур лампы оставлял всю комнату в зеленоватом сумраке, но в светлом круге, падавшем на стол, особенно четко выделялся прямой пробор мягких волос, бледное, бескровное, исхудалое лицо, светлая бородка, заостренная книзу, и сухая белая рука, нервно чертившая на полях корректурные знаки. Помню, меня поразило тогда его голос; прежде такой отрывистый, решительный, несколько суховатый, – он звучал теперь глухо и грустно, с какой-то новой, непривычной, кроткой медлительностью. Тишина, усталость, болезнь и близкая смерть веяли в этот безмолвный вечерний час над его склоненной головой.

Может быть, мало найдется людей, чья судьба преследовала бы с таким, ожесточенным постоянством, как Богдановича. В ранней молодости – суровые бедствия студенческой жизни, безыменная, самоотверженная, не ждущая признания и не ищущая благодарности борьба за освобождение народа, и за нею полицейская травля, обыски, ужасы военного суда восьмидесятых годов, крепость и ссылка; позднее – тяжелая, скудно оплачиваемая, изматывающая душу работа в провинциальной прессе, еще позднее – десять лет огромной журнальной деятельности в свирепую эпоху гонения на печать и – что еще хуже! – в пресловутую эпоху свободы печати. Цензурные условия и политическое прошлое принуждали Богдановича скрываться за скромными инициалами А. Б. и таким образом отказаться даже от того удовлетворения авторскому самолюбию, которое так невинно и понятно, а для Ангела Ивановича было так заслуженно.

Но маленький, худой, бледный человек, обладавший несокрушимой волей, твердо шел вперед наперекор судьбе. Он достиг многого: скромные инициалы привлекли круг отзывчивых и благодарных читателей, имя Богдановича приобрело надлежащий вес и значение в литературном мире, счастливая семейная жизнь обещала отдых и спокойствие. Тогда судьба нанесла последний, уже непоправимый удар – мучительную, неизлечимую, затяжную болезнь – последствие крепостного заключения и суровой борьбы за жизнь.

Никогда и никто из нас не слышал от него ни одной жалобы. На вопросы о здоровье он отвечал точно вскользь, коротко и небрежно, куда-то в сторону, прекращая этим дальнейшее любопытство или участие. Точно так же никогда он не говорил ни слова о себе самом, о своей жизни или о личных делах. Даже обычное, так излюбленное людьми местоимение «я» он заменил в разговорах с сотрудниками собирательным редакционным «мы».

Вообще я не знал более молчаливого человека, чем Богданович, и думаю, что немногословность его проистекала равномерно как из серьезной замкнутости сильного, трезвого

---

<sup>1</sup> – Вы ранены, сударь? – Простите, ваше величество, я мертв (*франц.*).

и осторожного характера, так и от долголетней привычки к упорной кабинетной работе. На редакционных собраниях он подолгу не произносил ни одного слова, слушая или делая вид, что слушает, вертя в это время в пальцах карандаш или нервно покручивая в одну сторону кончик бороды. Но, когда ему приходилось высказываться, он говорил сжато и быстро, никогда не останавливаясь ни на мгновение для подыскания слова. В эти короткие минуты он не позволял перебивать себя. Он произносил спокойно: «Виноват, я сейчас кончу», и продолжал свою речь оттуда, где остановился, с той непоколебимой деловой логичностью, ясностью изложения и знанием вопроса, которым трудно бывало противостоять. Перед большой же публикой он, насколько я знаю, никогда не выступал, боясь за свои нервы.

Работоспособность его была поразительна. Он читал в рукописях статьи почти по всем отделам журнала, держал их корректуры, вел громадную деловую переписку, принимал известных авторов, а также дебютантов в литературе, что, между прочим, одинаково трудно, длительно и неудобно, писал рецензии и критические статьи, распределял материал для очередной книжки, сносился с типографией, торопил брошюровочную. Казалось, в нем жила какая-то ненасытная потребность заваливать себя сверх головы работой. Кто-то сказал про него в шутку: если бы у Богдановича оставалось время, он бы сам набирал статьи, верстал их и печатал.

Как настоящий беспримерный труженик, он не терпел праздной болтовни и высоко ценил деловое время. Поэтому разговоры его с авторами отличались лаконичностью. Если писатель во что бы то ни стало жаждал прочесть ему немедленно же, вслух, свою повесть размером в три-четыре печатных листа, – он говорил коротко, но твердо: «Оставьте здесь рукопись, мы сами прочтем». Возвращая статью автору-неудачнику, он говорил: «Это нам не подходит», а на настойчивые просьбы сказать откровенно, почему именно не подходит, он наконец отвечал с серьезной, деловой откровенностью: «Потому что плохо написано». Авторам-графоманов и болезненно обидчивых дам-романисток он избегал, как огня.

Такой образ действия очень понятен со стороны, но совершенно непонятен авторам, и вот о Богдановиче пошло ходячее мнение, как о человеке с угловатым, нетерпеливым и высокомерным характером, на что, впрочем, он не обращал никакого внимания. Однако он один из первых приветствовал исключительные таланты Горького и Андреева и воспринял от купели юношеские произведения многих беллетристов, пользующихся теперь большой известностью, а тогда – робких, застенчивых, уступчивых и признательных новичков. *Те, кому следует, поймут меня.* Правда, он никогда не нежничал, не льстил, не предсказывал писателю будущности, не распределял мест в литературном пантеоне. Он просто говорил: «Это нам подходит», или: «Ваша рукопись сдана в набор». Эту краткость и сухость тоже относят на счет его нелюдимости, мизантропии, самомнения и так далее. А между тем это была только привычная манера делового и страшно занятого человека. Я утверждаю, что под его внешней холодной и сухой манерой обращения таилась истинная, сердечная привязанность к носителям даже незначительных талантов. Для него бывало большой радостью, когда «наш» сотрудник попадал в книжки «Знания», получая таким образом некоторый патент на экзамен, выдержанный во второй класс. И – хотя это всегда отзывалось впоследствии проигрышем для журнала – он всячески содействовал, насколько это от него зависело, тому, чтобы экзаменующийся получил удовлетворительный балл и был принят.

Но были два предмета его постоянных волнений и нежной заботливости – это «наш журнал» и «наш читатель». Оба они были для А. И. реальными, почти живыми существами. Им он отдавал всю свою душу, о них думал с утра до вечера, ради них усугублял свою осторожную недоверчивость испытанного журналиста. Поэтому он и бывал так упрямо беспощаден к перебежчикам, к людям с подмоченной репутацией, к писателям-флюгерам, готовым писать как, где и что угодно: здесь его антипатии стояли незыблемой стеной. Наконец – и только при нарушении интересов любимого журнала – на Богдановича изредка, раза два-три в год, находили припадки настоящей, не знающей границ ярости, тем более страшной, что она оттенялась

всегдашним спокойствием. В одном из подобных настроений Богданович однажды так объяснился с придирчивым цензором, что редакция журнала с этой поры не решалась более утруждать его объяснениями по делам печати. Бескорыстный джентльмен, уступчивый в вопросах денежных и издательских, он становился деспотичным и вспыльчивым, когда дело касалось репутации и чести его знамени – журнала.

Несмотря на громадный труд по журналу, Ангел Иванович читал поразительно много и, что еще дороже, обладал исключительной памятью, в которой множество самых разнообразных знаний укладывалось легко и в порядке. Никто легче его не обличал плагиаторов. Это был настоящий энциклопедический ум, живой справочник, в котором умещались даже такие сведения, которые были совсем далеки от специального медицинского образования Ан. И – ча и от его писательской профессии. Он удивлял иногда точными обширными познаниями в военном искусстве, в конском и атлетическом спорте, в православном богослужении, хотя сам был католиком, в естественных науках, в математике, в медицине, в истории, в музыке, в политической экономии, в живописи и во многом другом. Но мнения свои он высказывал всегда кратко и притом в самой скромной форме: «Если я не ошибаюсь...», «насколько помню...», «как мне кажется».

Многим из знавших Богдановича лишь издали, поверхностно, покажется невероятным, чтобы этот болезненный, глубоко серьезный, молчаливый человек мог страстно любить наиболее яркие, самые цветные стороны жизни. Еще за пять лет до своей смерти он неизменно ходил смотреть откуда-то с Канавки на военные майские парады и совершенно искренне, даже наивно восхищался голосом дьякона Малинина на Смоленском кладбище во время заупокойной обедни по В. П. Острогорском. Он с удовольствием, в виде отдыха, читал Шерлока Холмса, Дюма-отца и вообще романы с приключениями; он был поклонником физического здоровья, мускульной силы, ловкости, красоты, нормальной чувственности, отваги, легендарного героизма и переносил эти симпатии на свои суждения о литературе. Я помню, как трогательно, наивно и смешно, с необыкновенной серьезностью он отозвался заочно об одном романисте, принесшем в журнал свое произведение: «Роман так себе, мы его напечатаем, но ужасно жалко, что автор такой плюгавый на вид». Яркость и сочность красок, здоровая и простая художественность, сила изображения и меткость взгляда более всего прельщали его в произведениях беллетристики. Но болезнь и усталость брали свое, все более суживая круг личной жизни. За последний год мы ни разу не видали даже тени улыбки на строгом лице Богдановича. В обращении его с людьми проглядывала утомленность и сумрачная, но мягкая грусть. Журнальные невзгоды, вроде колебаний подписки, неизбежных внутренних неурядиц, административных нападков и так далее, уже не возбуждали в нем, как раньше, мгновенных, хотя и редких взрывов негодования – он принимал их с покорной тоской, затаенной под внешней выдержанной холодностью. И самая политическая ненависть, прежде так глубоко возмущавшая и колебавшая его усталую душу, под конец улеглась и устоялась в бесповоротное презрение и молчаливую брезгливость. Угадывал ли он, предчувствовал ли свой близкий конец? Никто из нас не сумеет ответить на это, потому что никого он не пускал в свою замкнутую душу. Но до последних минут главным центром его сознания, важнейшим интересом его угасавшей жизни были все те же два одухотворенные в его глазах существа – «наш журнал» и «наш читатель». Им он остался верен до смерти.

Храбрый солдат покидает свой пост только тогда, когда из его рук само вываливается знамя и глаза заволакивает холодный туман. Преклонимся перед этим образом героизма. Но также снимем шляпы и опустим головы перед ежедневным, незаметным, будничным самоотвержением, идущим вплоть до могилы. Это я говорю тому читателю, на служение которому Богданович сжег свою жизнь.